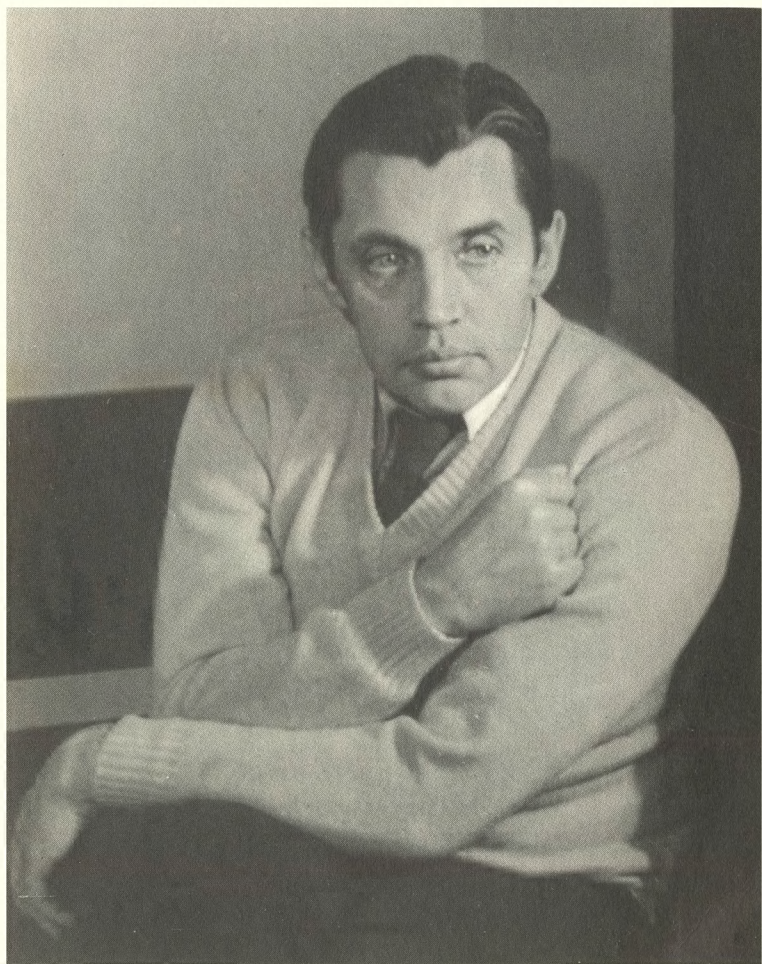


Роберт Ротдеславский

ГОЛОС ГОРОДА



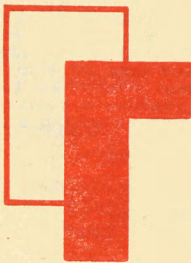


Роберт Ротдесйваский

ГОЛОС ГОРОДА

Новые стихи

Московский рабочий 1977



P2

P 62

Рождественский Р. И.

P 62 Голос города. Стихи. М., «Моск. рабочий», 1977.

88 с.

В новую книгу «Голос города» известного советского поэта Роберта Рождественского включены стихи о нашем времени, о нашем современнике, стихи о Москве, о войне. В стихотворениях Р. Рождественского отчетливо проступает широта взгляда на мир, ясная авторская позиция. В одних стихах — высокий гражданский пафос, в других — добрая улыбка, в третьих — философские раздумья. В книге много страниц о любви.

P2

P $\frac{70402-273}{M172(03)-77}$ 213-77

© Издательство «Московский рабочий», 1977 г.

* * *

Война откатилась за годы и гуды,
и горечь, и славу

до дна
перебрав...

А пули летят,
еще прилетают оттуда —
из тех февралей.

Из-за тех переправ.

А пули летят
из немыслимой дали...

Уже потускневшие

капли

свинца

пронзают броню

легендарных медалей,

кромсая на части

живые сердца.

Они из войны прилетают недаром.

Ведь это оттуда,

из позавчера,

из бывших окопов

по старым солдатам

чужие

истлевшие

бьют

снайпера!

Я знаю, что схватка идет не на равных

и ничем ответить

такому

врагу.

Но я не могу
 уберечь ветеранов.
Я даже собой заслонить
не могу.
И я проклиная
 пустую браваду,
мне спать не дает
ощущенье вины...

Все меньше и меньше
 к Большому театру
приходит
участников
прошлой войны.

* * *

Все начинается с любви..
Твердят:
«Вначале
было

слово...»

А я провозглашаю снова:
Все начинается
с любви!..

Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка —
все начинается с любви.

Все начинается с любви.
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть —
родная
и вечная
сестра любви.

Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг —
все начинается с любви...

Весна шепнет тебе:

«Живи...»

И ты от шепота качнешься.

И выпрямишься.

И начнешься.

Все начинается с любви!

* * *

Струя ручья
 пронзит глухие чащи.
В траве прошелестит
 струя змеи.
Из проволоки —
твердой и блестящей —
нарезаны
 лесные муравьи.
Есть капельки росы.
Предметы леса.
Подробности
 кленового листка, —
отставшие от гулко-го прогресса,
глядящие на нас изда-лека...
А я все рвусь
 за горизонт упру-гий,
за горы,
 океаны
 и года.
Совсем забыв о том, что близору-ким
обязан быть
Хотя бы иногда.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

В мире
 таком старом,
добрых надежд
 полном,
жаль мне людей,
ставших
перекати-полем.
Есть до небес —
 горы.
Есть без границ —
 чащи.
И до краев —
горе.
И через край —
счастье...
Может,
 за той кручей,
может,
 за той речкой
даже вода —
 лучше,
даже вино —
 крепче,
может,
жирней пища,
может,
щедрей доля...
Слезы свои
 ищет
перекати-поле...

* * *

Неожиданный и благодатный
дождь
беснуется в нашем дворе...
Между датой рожденья
и датой

смерти
кто-то поставит
тире.
Тонкий прочерк.
Осколок пунктира...
За пределом положенных дней
руки мастера

неотвратимо
выбьют минус
на жизни твоей...
Ты живешь,
негодуешь,
пророчишь.

Ты кричишь
и впадаешь в восторг...

Так неужто
малюсенький прочерк —
не простое тире,
а итог?!

АВТОМОБИЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ ПОД ВАШИНГТОНОМ

Поле затяжной войны.
Смешанный с песком
бензин.

Скрученные габуны
мертвых
лошадиных сил.
Бурей разметенный лес
в надвигающейся тьме.
Это символ твой,
прогресс?

Или
памятник чуме?
Той, которая парадно
заговораживает дали.

Сквозь стальные зубы века
хлещет посвист:
«Р-р-разойдись!..»

Продолжение рук — баранка,
продолжение ног — педали,
и упругое сиденье —
продолжение ягодиц!

Свет безумья
на челе.

Колыхание жары.
И —
на ветровом стекле —
кляксы

бывшей
мошкары.

Жадный зов,
истошный зов

расстояний,
 а потом —
только скрежет тормозов!
Только —
 брызги на бетон!..

Киса,
 стюардесса компании ПАНАМ,
кто ж тебя из города
 за полночь погнал?
Как это он держится
 на одном крыле,
твой никелированный
синий
«шевроле»?..
Это — кладбище машин.
Как огромная постель.
Змеи
 вырванных пружин.
Свалка
 бывших скоростей.
Двести
сомкнутых рядов.
Свой порядок.
Свой ранжир.
Это —
 кладбище машин.
Кладбище,
где нет цветов...

Бывший подарок
 бывшему сыну —
 «Альфа-Ромео»!
Ах как создание это
 на поворотах ревело!
Реяло,
 радовало,
 растворяло,
 рушило в Лету...

...Альфа-Ромео
больше не встретит
Альфа-Джульетту...

Можно подойти,
проверить.

Тронуть ржавые ремни...
Это

выставка трофеев.

Непонятно,

ЧЪИ ОНИ...

Может,

зря мы так спешим,

зря несемся каждый день

мимо кладбища

машин.

Мимо кладбища

людей.

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

До крайнего порога
вели его,
 спеша,—
алтайская порода
и добрая душа...

Пожалуйста, ответьте,
прервав хвалебный вой:
вы что,—
узнав о смерти,—
прочли его

впервой?!
Пожалуйста, скажите,
уныв
взыгравший пыл:
неужто он
при жизни
хоть в чем-то хуже
был?!

Поминные застолья,
заупокойный звон...
Талантливее —
что ли —

стал
в черной рамке
он?!

Убийственно жестоки,
намеренно горьки
посмертные
восторги,

надгробные
дружки.
Столбы словесной пыли
и фимиамный дым...

А где ж вы раньше
были,—
когда он был
живым?

ДОЛГИ

Пришла ко мне пора
платить долги.
А я-то думал,
что еще успею...
Не скажешь,
что подстроили враги.
Не спрячешься за юношеской спесью...
И вот я мельтешу
то здесь, то там.
Размахиваю
разными словами...
«Я расплачусь с долгами!..
Я отдам...
Поверьте мне!..»

Кивают головами
леса и травы,
снегопад и зной,
село Косиха,
Сахалин
и Волга.
Живет во мне,
смеется надо мной
немыслимая необъятность
долга!
Ждет каждая секунда.
Ждут года.
Озера,
полные целебной влаги.
Мелькнувшие, как вспышка,
города.

Победные
и траурные флаги.
Медовый цвет
 клокочущей ухи,
моей Москвы
всесильные зарницы
и те стихи,
 те — главные —
 стихи,
которые лишь начинают
сниться.
И снова полночь
 душу холодит.
И карандаш с бессонницею спорит.
И женщина
в глаза мои глядит.
(Я столько должен ей,
 что страшно вспомнить!..)
— Плати долги!..
Плати долги, чудак!..
Давай
 начистоту судьбу продолжим...

Плачу́.
Но каждый раз
 выходит так:
чем больше отдаешь,
тем больше
должен.

БАРСЕЛОНСКИЙ РЫНОК

Час домашних хозяек
вступает в права.

Час
торговок озябших.
Время

их горжества.
Круговая порука.
Смешенье эпох...
Здесь любая старуха
считает, как бог.
И хранит одаренно
интересы свои,
как посол

отдаленной
суверенной семьи...

Час
приветствий почетных
на всех языках.

Час подсчетов.
Подсчетов
до боли в висках!
Час проклятий плаксивых.
И божбы.
И вранья.
(Может, после

«спасибо»
все же скажут мужья?..)
Выбор

мяса для супа —
основа основ.

И тяжелая сумка,
как собака у ног...
Поле славы и брани.
Схватка
судеб и цен.
Весь базар —
будто странный
вычислительный центр.

* * *

Тост
грузинского застолья —
это дело не простое...
Сочно,
 сказочно
 и длинно
начинает тамада.
Но отнюдь не подхалимно,
как считают иногда.
В тостах
 истинного сорта
есть,
помимо прочих тайн,
нечто
 вроде горизонта,
убегающего вдаль.
Человеку
 намекают
на возможности его.
Оглядеться помогают —
и не более
того.
Человека славят гимном,
учат
 крылья обретать.
Говорят ему,
 каким он,
коль захочет,
может стать!..

Ты сидишь
нахмутив брови,
хвост редиски беребя...

Стать бы хоть однажды
вровень
с этим тостом
за тебя.

ПЕСНЯ О БЕЛОМ ОБЛАКЕ

Верю,
 что молодость
все еще около...
Плыло над юностью
белое облако.
Легкое облако.
Белое-белое.
Будто любовь моя
самая первая.

Будто любовь моя.
Будто мечта моя.
Самая светлая.
Самая-самая.
Белое облако
в небе растаяло.
В небе
 растаяло.
Память
 оставило...

Эхом от оклика,
давнего оклика,
ты возвратись ко мне,
белое облако!
Все, что успел забыть,
снова припомнится.
Что не исполнилось,—
сразу исполнится.

Только не стань, прошу,
мглою плакучею,
белое облако —
черною
 тучею...
Верю, что молодость
все еще около..

Плыло
 над юностью
белое
облако.

* * *

То, где мы жили,
называлось югом...
И каждый раз,
как только мы вставали,
казался мир вокруг
настолько юным,
что в нем —
наверняка! —
существовали
пока еще не названные вещи.
Беспомощный,
под безымянным небом
рождался мир.
Он вовсе не был
вечным.
Усталым не был.
И всеильным не был.
Он появлялся.
Он пьянил, как брага.
Он был доверчивым
и откровенным...

О, это удивительное право:
назвать землею — землю,
ветер — ветром!
Увидев
ослепительное нечто,
на миг сомкнуть
торжественные веки
и радостно провозгласить:

«Ты —
 небо!
Да будет так
отныне и вовеки!..
Да будет мир
 ежесекундно юным.
Да будет он таким
сейчас и позже...»

То, где мы жили,
 называлось югом.
И было нам по двадцать лет.
Не больше...
И нисходила ночь —
 от звезд рябая.

И мы,
заполненные гулкой ширью,
намаявшись,
почти что засыпая,
любовь
бесстрашно называли
жизнью.

и что можно

заставить попятиться

дни.

Тем, что выдался

этот прекраснейший повод,

что исколоты пальцы

и губы горят,

что обиды они друг на друга

не помнят

и возвышенно о пустяках говорят.

Тем, что здесь они заняты

делом достойным.

Что еще не нахлынула

пьяная грусть...

И витает

над их долгожданным застольем

смачный,

яростный,

неподражаемый хруст!

И галдят,

и смеются они беспричинно.

И лежит перед ними на блюде

зверье...

И покорно взирает

большая рачиха

на ближайшее будущее свое.

* * *

В. Пескову

Кромсаем лед,
меняем рек течение,
твердим о том, что дел невоворот...
Но мы еще придем
просить прощенья
у этих рек,
барханов
и болот,
у самого гигантского
восхода,
у самого мельчайшего
малька...

Пока об этом
думать неохота.
Сейчас нам не до этого
пока.
Аэродромы,
пирсы
и перроны,
леса без птиц
и земли без воды...
Все меньше —
окружающей природы.
Все больше —
окружающей среды.

На старинных верфях пахло
морем, тесом и смолой.

А вокруг стояла публика,
на плотника глаза.

Это было так потешно:

царь
орудует пилой!

Так забавно:

царь — и нате! —

с матроснею курит зелье.

Одобрительно кивали головами лоцмана...

А под вечер,

а под вечер, захмелев от третьей чарки,
подтверждала

забудыжная портовая шпана:

плотник Петр Алексеев

любит угощать

по-царски!

Над кабацкими столами

ходуном ходил туман.

С русским бешеным детиной

было ссориться опасно.

Хохоча,

во время танцев

так девиц он обнимал,

словно выдавить хотел их из корсетов,

будто пасту!..

И опять наутро вкалывал

на солнце молодом!

Злился,

ежели от мастера за дело попадало...

Это будет позже, после.

Это будет все

потом —

и конфузия под Нарвой,

и победная Полтава.

Это после встанет город,

задевая облака,

над Невую,
на останках слепенькой чухонской мызы.
Это будет позже.
Будет
непременно!

А пока
на спине державной, царской
каменно бугрятся мышцы.
По плечам царя струится и блестит
мужичкий пот.

И глядят на это диво
саардемские разини...

Ах как распахнется после
непотешный русский флот!

Поплывет по океанам
непотешная Россия!
Наплевав на все наветы,
утвердится на земле.
С тысячью смертями
знаясь,
с тысячью штормами
споря...

В этом домике
укачивает, как на корабле.
И войти в него сегодня —
все равно, что
выйти в море.

ПРИХОДЯТ КИТОБОИ

По правилам устава,
без никаких замен,
их

двести дней мотало
за тридевять земель.
Штормящие широты
без них теперь
пусты.

Живите,
кашалоты!

Возрадуйтесь,
киты!..

Волну
плавбаза режет,
вступая на порог...

А здесь,
на побережье,—
большой переполох!
Все сделано для встречи.
Готово.

Учтено.
И лозунги,
и речи,
и пресса,
и кино.
Еще вчера на рынке
исчезли

все цветы.
Содом стоит великий
в салоне красоты.

Парад
причесок странных.
Обилие невест...
В кафе и ресторанах
не будет
нынче
мест!

И с тем
никто не спорит...

Войдя
в свои права,
сегодня жены
вспомнят
нежнейшие слова!
Сегодня —
время женщин.
Сегодня —
их заря...

Да будет
всем пришедшим
опорою
земля!
Знакомая до боли.
Большая от забот...
Приходят
китобои
в Калининградский порт.

ОГЛЯНУВШИСЬ...

И все ж,
 пройдя сквозь тайгу и пустыни,
поверив в детей,
 как в себя самих,
мы знаем:
не кончится,
не остынет
и не ослабнет,
 хотя бы на миг,
напористость плуга,
дыханье завода,
движение
 скальпеля и пера...

Мы помним о том,
что любое Сегодня —
всего лишь
 завтрашнее
 Вчера

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ

«Так сколько ж ей?..»
«И в самом деле
сколько?..»

А женщина махнет рукою
и

промолвит нараспев —
светло и горько:
— Зачем считать напрасно?
Все —

мои... —

А после выпьет
за друзей пришедших.

И будет излучать
высокий свет...

Есть только дни рождения
у женщин.

Годов рождения
у женщин
нет!

* * *

Не кончающие жить,
продолжающие
в рифму
радоваться

и тужить,
слову доверять
и ритму,
не стыдящиеся слез,
как бы

время
ни начало,
с первых выдыхов,
с начала
начали мы
жить всерьез!..

Не считали,
сатанея
от лирических рулад:
«Вырасту и поумнею...
Мир

поверит
в мой талант...»

Да не сбудется гаданье!
Да исполнится закон:
молодой дурак

с годами
станет
старым дураком!
Непременно.
Неизбежно.
Здесь пути другого нет.

Станет
 молодая бездарь
бездарью
преклонных лет!
Неизбежно.
 Непременно...

Как в начале,
неспроста,
пусть нам будет
 высшей мерой
отсвет
белого листа.
Пусть его квадратик
 мудрый
будет
на ветру шальном
нам и впредь
 нежданной мукой
и распахнутым окном.
Вглядываясь в окна эти,
зябко перьями скрипя,
нам и впредь
 во всех на свете
находить
самих себя...
Оглушая криком дом,
знаем в праздники и в будни:
нет
 в поэзии
 «потом».
Ничего «потом»
не будет!..

Не кончающие жить,
доверяющие ритму,
продолжающие в рифму
радоваться
 и тужить,

мы —
почти наверняка,
вопреки любой печали —
верим,
 что еще в начале
наша
плавная строка.

ХУДОЖНИК

А он —
 неумелый, как мастер,
не ведает
вновь ничего.
И более всякой напасти
 страшится
 себя самого.
И снова —
 сплошные препоны.
И в мире не создано книг.
И вновь —
 пред началом работы —
он сам у себя
ученик.

ПРОГРАММИСТАМ, ОБУЧАЮЩИМ ЭВМ

Проводов натруженные жилы.
Алгоритмов сомкнутая мощь.
Учится

писать стихи

машина.

Я не против.

Я могу помочь.

Я ее программы

не нарушу,

одобряя стихотворный зуд...

Только

мало — в рифму.

Надо — в душу.

Рифмы рифмами.

Не в этом суть...

Пусть же, как положено,

в начале

втиснутся

в машинные зрачки

уравнения

счастья и печали,

формулы

удачи и тоски.

Но однажды пусть

она, машина,

осадив

свой электронный бег,

зная все конструкции снежинок,

тихо спросит:

«Что ж такое снег?..»

Пусть потом опомнится.
Остудит
мозг несметный.
Но — ему назло,—
проклянув себя,
опять поступит
глупо,
нелогично
и светло!
Спутает, что важно,
что не важно.
Вымолвит:
«Какие пустяки!..»
...Может быть, тогда
машина ваша
и напишет
настоящие
стихи.

БАЛЛАДА О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

*(Центропункт — диспетчерская городской
медицинской службы)*

Наверное, похожи номера.
А может,
техники недосмотрели.

Но только
незадолго до утра
я был разбужен
телефонной трелью...
— Скажите, это центропункт?

Алло?..

Алло!!
(Я трубку вешаю в молчанье.
Я даже не могу ответить зло.
Я сплю.
Я ничего не замечаю...)
Звонок, и все сначала:

— Центропункт?

Опять ошибка?
Это невозможно!!

Сна не было уже.
А был испуг
пред всем, что непонятно
и тревожно...

Звонки ломились,
будто в дверь — плечом.
Как настоящий ветер —
в сновиденья...

— Аппендицит!..
— Да я-то тут при чем?!

— Потеря крови!..
— У кого потеря?!

По комнате шаталась темнота,
она была пугающе громадна...
— Ранение в районе живота!..
— Алло!
Необходим реаниматор!..
(Валилась трубка
из дрожащих рук.)
— Открытый перелом!..
Нужна машина...

...Да погоди, не горячись.
А вдруг
все правильно.
И это не ошибка.
Тебе поверили.
Тебя нашли.
Узнали номер.
Выяснили имя...
Ты ж сам кричал,
что боли всей Земли
отныне станут
навсегда твоими!..
Что ж, если так,
то слово за тобой.
Барахтайся в нестихотворных темах.
Она тебя зовет —
чужая боль.
Реальная.
Людская.
Без подделок...
Скажи, что повзрослел.
Что нездоров.
Давнишнюю строку
возьми обратно...

Но я бужу
 знакомых докторов.
Я что-то объясняю им
невнятно.
И остаюсь
 в гудящей тишине.
И чувствую натянутые нити...

Все правильно.
Все так
Звоните мне!
Ошибки нет.
Звоните мне!
 Звоните!

НАДПИСЬ

С пересудами не знаясь,
их заранее терпя,
на стене

сияла надпись:

«Элка,
я люблю тебя!..»
В ней была и боль, и жадность.
В ней

торжественность была.
И сама стена, казалось,
от волнения
росла...

Уважаемая Элка,
в центре города Москвы
во дворе

грохочет эхо.
Виноваты в этом
вы.
Не видал я вас ни разу,
только с вами наравне
автора

великой фразы
одобряю я вполне.
Славлю
буковки живые,
принимаю целиком...
Ведь сегодня он —
впервые! —
сформулировал закон.

Самый четкий,
самый добрый,
необъятный, как весна.
Вывел формулу,
в которой
жизнь людей
заклучена.

Написал ее просторно
вам —
и больше никому.
Пусть
Эйнштейны и Ньютоны
позавидуют ему!..
Я хочу,
чтоб этот сполох,
я хочу,
чтоб этот свет
вдруг увидел археолог
через много
тысяч
лет!..
Двор,
кипящий, будто Этна,
в синих сумерках
увяз...

Вы ответьте парню,
Элка.
Элка,
умоляю вас!

* * *

Все хочу я увидеть.

Хочу испытать.

Все, кроме смерти.

И слышать все шепоты мира

и все его грохоты.

Но даже и то, что небесный Госплан

отпустил мне по смете,

я честно приму.

И вместе с друзьями

потрачу до крохотки...

Все желания могут исполниться,

кроме самого яркого —

колёса машины времени

ржавеют — не смазаны...

А мне б

откусить

от того матросского яблочка!

А мне бы

почуять

рукопожатье товарища маузера!..

Это вовсе не кровь,

это время в жилах играет.

Пусть потом разберутся,

кто гений,

кто трус,

кто воин.

Ведь не тогда человек умирает,

когда умирает.

А тогда, когда говорит:

«Я собой доволен...»

Я собой доволен...

И можно готовить деньги,
заказывать место на кладбище
и траурный выезд...

А в соседнем сквере

кудахчут хорошо одетые дети.

И не знают еще,

что им досталась эпоха —

навырост!

Мы об этом тоже не знали.

Мы не верили, что состаримся.

И что однажды

на сердце у каждого

истина выжжется:

никогда не бывает Счастье

конечной станцией!..

...Потому-то и кружится этот мир.

Потому он

и движется.

* * *

Океана дымчатая синь.
Утреннего солнца торжество...
С вышки минарета

муэдзин

накричал
на бога своего...
Молится и Запад, и Восток.
Мир спешит
узнать свою судьбу.

Люди верят
в странные табу,
в дьявола
и завтрашний потоп.
Верят
знахарям и колдунам,
гороскопам
и святой воде,
наговорам
и нелепым снам,
лешему
и синей бороде.
Люди исступленно смотрят вверх —
в небо
без границ и берегов.
Тысячи
разнообразных вер!
Тьма
разнокалиберных богов!..

Впрочем,
есть у мира с неких пор

для объединения людей
летняя религия —
футбол,
зимняя религия —
хоккей.

* * *

Надо ж, почудилось.
Эка нелепость!
Глупость какая!..

Два Дед-Мороза
садятся в троллейбус.

Оба —
с мешками...
Рядышком

в нимбе из снежного пара
с удалю злою
Баба-Яга посреди тротуара
машет метлою.
На гору

с видом таинственно-мудрым
лезут трамвай...
Кто-то сказал,
что в кондитерской утром
«Сказку» давали...

Вечер,
заполненный чудесами,
призрачно длится.
Красная Шапочка

ждет под часами
звездного принца...
И, желваки обозначив на скулах,
выкушав водки,
ходят

в дубленых овечьих шкурах
Серые Волки.

ЛЫЖНИК

Когда —
 нумерованный, как трамвай,—
он катит по синим рельсам лыжни,
его встречают:

«Давай-давай!..»

Его провожают:

«Нажми!..

Нажми!!»

И только тренер,
содрав с головы
шапку,—

 голосом ветра в степи

с выдохом,
с высвистом,
с выхрипом,
с вы...

твердит одинокое слово:

«Терпи!..»

Ленивое понуканье толпы.
Поземка, встающая на дыбы.
Молчащие глыбы круглы и тупы,—
терпи!..

За долгим застольем

 с друзьями не спи.

Остри и печалься,
казнись и люби,
над каждой строкой

 оглушенно корпи.

Терпи!..

Усталости до краев накопи.
Не сдайся,
 не рухни,
 зубами скрипи.

Пороги возможного
переступи.
Терпи!..

Терпи.
Бравада не тот товар.
У века в долгу,
 в суете,
 в пылу
стерпи
и ругань и похвалу...

...А вы говорите:
«Давай-давай...»

МОТИВ

Утро проползло по крышам,
все дома позолотив...

Первое,
что я услышал
при рождение,
был мотив.

То ли древний,
то ли новый,
он в ушах моих крепчал
и какой-то долгой нотой
суть мою
обозначал.

Он меня за сердце тронул,
он неповторимым был.
Я его услышал.

Вздрогнул.

Засмеялся
и —

забыл!..
И теперь никак не вспомню.
И от этого грущу...

С той поры,
как ветра в поле,
я всю жизнь
мотив ищу.

На зимовье
стыну
лютом,

бóхаю на вираже.
И прислушиваюсь к людям,

к птицам,
к собственной душе.
К голосам зари багряным,
к гулу с четырех сторон.
Чувствую,
 что где-то рядом,
где-то очень близко
он!..
Зябкий, будто небо в звездах,
неприступный, как редут.
Ускользящий,
 как воздух.
Убегающий,
 как ртуть.
Плеск оркестров.
Шорох санный.
Звон бокалов.
Звон реторт...
Вот он!
 Вроде бы тот самый!
Вроде бы.
А все ж —
 не тот!
Тот я сразу же узнаю.
За собою позову...

Вот живу и вспоминаю...
Может,
этим и живу.

СЛАДКА ЯГОДА

Сладка ягода в лес поманит,
свежей спелостью удивит.
Сладка ягода одурманит,
горька ягода
отрезвит.
Ой, крута судьба, словно горка,
доняла она,
извела.
Сладкой ягоды —
только горстка.
Горькой ягоды —
два ведра.
Я не ведаю, что со мною,
почему она так растет —
сладка ягода
лишь весною,
горька ягода —
круглый год...
Над судьбой моей ты посмейся,
погляди мне вслед из окна.
Сладку ягоду рвали вместе,
горьку ягоду —
я одна.

* * *

Больничный коридор,
пустынный,
 будто поле.

Осипший баритон
товарища по боли...
Больничная стена.
Бессонные

 «а если...».

Сухие письма
истории болезни...
Предчувствие расплаты
и холодок вины.
Всегда,

 когда больны,
мы
в чем-то виноваты...
Больничный потолок,
квадрат,
 глядящий немо,—
мое второе небо
на неизвестный срок...

Злой и веселый сразу,
держа судьбу в руке,
профессор

 цедит фразу
на мертвом языке.
И все ж,
смирив гордыню,
вполне доволен я:
прекрасно по латыни

звучит
 болезнь моя!..

Больничное окно
опасно, как бойница.
Как будто бы больница
осаждена давно.
Закатные пожары
стекают,
словно воск...
Больничные пижамы,
как форма
 неких
 войск.

СКАЗКА О КУЗНЕЦЕ, УКРАВШЕМ ЛОШАДЬ

Был кузнец непьющим.
Ел
 что бог предложит.
То ли — от безумия,
 то ли — от забот,
он украл однажды у соседа лошадь.
Кузнецца поймали.
И собрали
 сход...
Дали слово
старцу.
Распростер он руки.
Покатились слезы
 из-под дряблых век:
«Люди!
Я заплакал
 от стыда и муки!..
Вор
у нас в деревне!
Мерзкий человек!..
Мне стоять с ним
 больно.
Мне дышать —
противно!
Пусть не станет вора
 на святой Земле!..»
Зашептались люди...
В общем,
 выходило:

кузнецу придется
 кончить жизнь
 в петле...
И тогда поднялся старец
 (очень древний).
От волнения
вздрагивал седины венец.
Он сказал:
«Подумаем, жители деревни!..
Что украли?
Лошадь.
Кто украл?
Кузнец!!
Он у нас —
 единственный!
Нужный в нашей жизни.
Без него —
 погибель!
(Бог ему судья...)
Мы,
 повесив вора,
 кузнеца лишимся!
Выйдет,
что накажем
 мы
 самих себя!
Вдумайтесь!..»
И люди снова зашептались.
Спорам и сомнениям
 не было конца...

И тогда поднялся
самый главный
старец:
«Правильно!
Не надо
 вешать кузнеца!..
Пусть за свой проступок
 он заплатит деньги!..

А поскольку
этот разговор возник,—
есть у нас
 два бондаря.

Двое!
И —
 бездельники!..
Лучше мы повесим
одного из них...»

Умные селяне
 по домам расходятся.

Курят.
Возвращаются
 к мирному труду...

Кузнецом единственным
быть мне
очень хочется!

(Если —
ненароком —
лошадь
 украду.)

ДВЕ ПЕСНИ МОЕГО ДРУГА

1

Чай возник из блюда. Мир из хаоса возник.
Дождь — из тучи. А из утра — полдень...
Ах как много в жизни мы читаем разных книг!
Ах как мало в результате помним!..
Вот она — река, да нечем горло промочить.
Что-нибудь от этого случится...
Ах как нам приятно окружающих учить!
Ах как стыдно нам самим учиться!..
Глупые раздумья можно шляпою прикрыть,
отразиться в зеркалах и в лужах...
Ах как хорошо мы научились говорить!
Ах как плохо научились слушать!..
Истину доказываем, плача и хрипя.
Общими болезнями болеем...
Ах как замечательно жалеет нас себя!
Ах как плохо мы других жалеет!

Снова сердце бьется шибче молодого
на пределе современных скоростей.
Только жалко,

что для этого мотора
не нашли пока что
запасных частей.
Может быть, достичь мы все-таки сумеем,
знаменитый доктор

скажет, как споет:

«А давайте —
для начала —
сердце сменим!
Ваше, старое,

от жизни

отстает...»

Может, так оно когда-нибудь и станет.
Может, так оно и будет.

А пока

люди ходят по планете.
И мечтают.
И стареют.
И глядят на облака.
Задыхаются от горя и от счастья.
О бессмертье
меж собой не говорят...

А хорошие сердца
болеют
чаще
За себя и за других
они болят.

МОНОЛОГ ФУТБОЛЬНОГО ВЕТЕРАНА

Мы —
старые «землемеры».
Мы —
давние мастера...
Замены прошу,
замены!
Честное слово,
пора!
Бежим за мячом футбольным
по круглой, как мяч,
земле.

В Днепропетровске,
в Стокгольме,
в Париже,
в Махачкале...
Наелся!
Довольно!
Хватит!..

В легких —
комков огня...
«Профессором»
называют
в команде нашей меня.
Я прозвищам
знаю цену
и чувствую — будь здоров, —
как нынешние
«доценты»

ломают
«профессоров»!
Пашу травяное поле,

пасусь
на квадратном лугу...
Я знаю все
о футболе.
Я все в футболе
могу!
Сейчас я
откроюсь снова,
сейчас я
рванусь на край
и, падая,
с навесного
выложу мяч:
— Играй!!

И грянут аплодисменты!
И вздыбится ураган!..
Замены прошу.
Замены.

Замены
избитым ногам.
Замены
полночным крикам
и мужеству до поры...

Умру я
без этой великой,
без этой проклятой
игры.

* * *

Время,
 когда мы на ощупь растем,
немилосердно...
Помню:
 хотел развести я костер
в собственном сердце.
Я его запросто соорудил,
наспех построил.
Твердо решив,
 что погреюсь один.
Без посторонних...
Я же не думал,
 не знал одного,
что — по примете —
пламя не гаснет,
когда за него
двое
 в ответе.
Я же не знал,
 что в крутом ноябре
где-то,
когда-то
сам я сгорю
 в настоящем костре
весь.
Без остатка.
Все это вовремя будет
 и в срок...
Ну а куда
я, торопясь,
 раздувал костерок,
веруя в чудо.

* * *

И большая
 глыба снега
ляжет
под твоим окном...
Всею глубиою голубою
тыщи смерзшихся страниц
зазвонят перед тобою,
умоляя:
 прикоснись!
Пусть тебе поможет чувство!
Догадайся
и прочти!..

Впрочем,
 я не верю в чудо,
невозможное почти...
Ты на глыбу
 глянешь строго
и с тропинки не свернешь.
Снег налипший
у порога
варежкой отряхнешь.
Мне об этом
 думать горько,
но реальность
такова:
скоро
 ледяною горкой
станут
все мои слова...
А когда пройдут морозы,
а когда пройдет зима,
побегут ручьями
 слезы
из забытого
письма.

* * *

Был солдат
на небывалой войне,
на дорогах обожженной планеты.
Он сначала видел

только во сне

День Победы...

Отступал он

и в атаку ходил,
превозмог он все раненья и беды.

Был готов он жизнь отдать

за один

День Победы!..

И ни разу

ни слезинки из глаз,
он усталости и страха
не ведал...

А заплакал он

единственный раз.

В День Победы.

* * *

Та зима была,
 будто война,—
 лютой.
Пробуравлена,
прокалена ветром.
Снег лежал,
 навалясь на январь
 грудой.
И кряхтели дома
 под его весом.
По щербатому полу
 мороз крался.
Кашлял новый учитель
 Сергей Саныч.
Застывали чернила
 у нас в классе,
и контрольный диктант
отменял завуч...
Я считал,
 что не зря
 голосит ветер,
не случайно
болит по утрам
 горло,
потому что остались
 на всем свете
лишь зима и война —
из времен года!..
И хлестала пурга
 по земле крупно,

и дрожала река
в ледяном гуле.
И продышины в окнах
цвели кругло,
будто в каждое
кто-то всадил
пулю!..
И надела соседка
платок вдовий.
И стонала она допоздна-поздно...
Та зима была,
будто война,—
долгой.
Вспоминаю
и даже сейчас
мерзну.

ТЫЛОВОЙ ГОСПИТАЛЬ

За окошком
дышит холод.
Ветер
воет
на луну...
Помещение
нашей школы
занял госпиталь
в войну.
Здесь легко обосновались
предвоенные слова.
И палаты назывались:
третья — «Б»,
восьмая — «А».
И хотя для неученых
медицина —
темный лес,
в школе выяснялось четко,
кто — «жилец»,
кто — «не жилец»...

Многодетные гвардейцы —
вечные ученики —
здесь учились,
будто в детстве,
делать первые шаги.
И метался по палате
стон полуночный:
«Сестра!..»

И не только службы ради
бодрствовали доктора
с покрасневшими глазами...
Здесь —
 безжалостен и строг —
шел
 невиданный экзамен,
нескончаемый урок,
где на всех —
 одна задача:
даже если тяжело,
выжить —
 так или иначе.
Выжить —
 Гитлеру назло!..

Шло учение рисковом,
но одно известно мне:
кончившие
 эту школу
больше знали
о войне!..
К остановке шли трамвайной,
уходили,
 излечась.
Краше грамоты похвальной
было
 направленье в часть.
А еще —
 слова приветия.
И колеса —
 сердцу в такт...

Знаю я,
что школу эту
покидали и не так.
Инвалидная команда
трубы медные брала.

Долго,
страшно
и громадно
эга музыка ползла.
Ежедневная дорога
будто —
личная вина...

...А война была
далёко.
Далеко была
война.

МГНОВЕНИЯ

Не думай о секундах свысока.
Наступит время —
сам поймешь,
 наверное:
свистят они,
 как пули у виска,—
мгновения,
мгновения,
мгновения...
Мгновения спрессованы
 в года.
Мгновения спрессованы
 в столетия.
И я не понимаю иногда,
где —
 первое мгновенье,
где —
 последнее.
У каждого мгновенья —
 свой резон.
Свои колокола.
Своя отметина
Мгновенья раздают
 кому — позор,
кому — бесславье,
а кому — бессмертие!
Из крохотных мгновений
 соткан дождь.
Течет с небес
печаль обыкновенная...

И ты порой
 почти полжизни ждешь,
когда оно придет —
твое мгновение.
Придет оно —
 большое, как глоток,
глоток воды во время зноя летнего...

А в общем,
 надо просто помнить долг.
От первого мгновенья
до последнего.

* * *

Я прошу:
хоть ненадолго,
боль моя,
ты покинь меня.
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому,
отсюда — к родному дому...
Берег мой,
покажись вдали!
Краешком,
тонкой линией.
Берег мой,
берег ласковый,
ох, до тебя, родной, доплыть бы!
Доплыть бы, хотя б когда-нибудь...

Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди.
Прямо у реки в маленьком саду
созрели вишни,
наклонясь до земли.
Где-то далеко, в памяти моей, сейчас, как в детстве, тепло.
Хоть память
укрыта
такими большими снегами!..

Ты, гроза,
напой меня!
Допьяна,
да не до смерти!..

Вот опять,
как в последний раз,
я все гляжу куда-то в небо.
Как будто ищу ответа...
Я прошу:
хоть ненадолго,
боль моя,
ты покинь меня.
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому,
отсюда — к родному дому.

БАЛЛАДА О ЗЕНИТЧИЦАХ

Как разглядеть за днями
 след нечеткий?
Хочу приблизить к сердцу
этот след...
На батарее
 были сплошь —
 девчонки.

А старшей было
восемнадцать лет.
Лихая челка
над прищуром хитрым,
бравурное презрение к войне...
В то утро
танки вышли
прямо к Химкам,
Те самые.
С крестами на броне...
И старшая,
действительно старея,
как от кошмара заслонясь рукой,
скомандовала тонко:
— Батарея-а-а!
(Ой, мамочка!..
Ой, родная!..
Огонь!..—
И —
залп!..

...И тут они
заголосили,
девчоночки.

Запричитали всласть.
Как будто бы
вся бабья боль
России

в девчонках этих
вдруг отозвалась!..
Кружилось небо —
снежное,
рябое.

Был ветер
обжигающе горяч.
Былинный плач
висел над полем боя,
он был слышней разрывов —
этот плач!..
Ему —
протяжному —

земля внимала,
остановясь на смертном рубеже.

— Ой, мамочка!..
— Ой, страшно мне!..
— Ой, мама!.. —

И снова:
— Батарея-а-а!..—

И уже
пред ними,
посреди земного шара,
левее безымянного бугра
горели
неправдоподобно жарко
четыре черных

танковых костра.
Раскатывалось эхо над полями,
бой

медленную кровью истекал...
Зенитчицы кричали
и стреляли,
размазывая слезы по щекам!
И падали.

И подымались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою
(в буквальном смысле слова!).
И Родину.
И маму.
И Москву.
Весенние пружинящие ветки.
Торжественность
венчального стола.

Неслышанное:
«Ты моя — навеки!..»
Несказанное:
«Я тебя ждала...»
И губы мужа.
И его ладони.
Смешное бормотание
во сне.

И то, чтоб закричать
в родильном
доме:
— Ой, мамочка!
Ой, мама, страшно мне!! —
И ласточку.
И дождик над Арбатом.
И ощущение
полной тишины...

...Пришло к ним это после.
В сорок пятом.
Конечно, к тем,
кто сам пришел
с войны.

* * *

Льдины, растаяв,
становятся синью в реке.
Птицы, взлетая,
становятся стаей упругой.
Дети,
рождаясь,
кричат на одном
языке,
заклиная взрослых людей
понимать
друг друга!

СОДЕРЖАНИЕ

«Война откатилась за годы и гуды...» . . .	3
«Все начинается с любви...»	5
«Струя ручья пронзит глухие чащи...» . . .	7
Перекасти-поле	8
«А природа опять то предельно проста...»	10
«Неожиданный и благодатный...»	11
Автомобильное кладбище под Вашингтоном	12
Памяти Василия Шукшина	15
Долги	17
Барселонский рынок	19
«Тост грузинского застолья...»	21
Песня о белом облаке	23
«То, где мы жили, называлось югом...» . . .	25
Раки	27
«Кромсаем лед, меняем рек течение...» . . .	29
Домик Петра Первого в Саардеме	30
Приходят китобои	33
Оглянувшись...	35
День рождения женщины	36
«Не кончающие жить...»	37
Художник	40
Программистам, обучающим ЭВМ	41
Баллада о телефонных звонках	44
Надпись	47
«Все хочу я увидеть. Хочу испытать...» . . .	49
Альенде	51
«Океана дымчатая синь...»	52
«Надо ж, почудилось. Эка неелепость!...» . . .	54
Лыжник	55
Мотив	57
Сладка ягода	59
«Больничный коридор...»	60
Сказка о кузнеце, укравшем лошадь	62
Две песни моего друга	65
Монолог футбольного ветерана	67

«Время, когда мы на ощупь растем...» . . .	69
«Белым снегом, белым цветом...»	71
«Был солдат на небывалой войне...»	73
«Та зима была, будто война,— лютой...» . . .	74
Тыловой госпиталь	76
Мгновения	79
«Я прошу: хоть ненадолго...»	81
Баллада о зенитчицах	83
«Льдины, растаяв, становятся синью в реке...»	86

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович

ГОЛОС ГОРОДА. Стихи.

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *В. Степанов*

Художник *В. Медведев*

Художественный редактор *П. Зубченко*

Технический редактор *Г. Бессонова*

Корректор *Ю. Черникова*

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Московский рабочий», Москва, Чистопрудный буль-
вар, 8.

Л44457. Сдано в набор 1/XI 1976 г. Подписано к печати
26/I 1977 г. Бумага № 1. Формат 70 × 108¹/₃₂. Усл. печ. л. 3,85.
Уч.-изд. л. 3,19. Тираж 100 000 экз. Цена 38 коп. Заказ 1201.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

38 к.

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ